
Галина ЗАЙНУЛЛИНА

ПРОГРАММИРУЮЩАЯ МОЩЬ КАЗАНСКОГО ТЕКСТА

(Символические реалии Казани
в прозе В. Попова, А. Сахибзадинова,
А. Хаирова, Д. Осокина и Р. Беккина)

1

«Казань — пересыхающая лужица / Куда-то навсегда отхлынувшей Азии...» [Беляев 1991: 14]. В чем уникальность этого города, ныне третьей столицы России, а в прошлом поселения Волжской Булгарии, затем центра Казанского ханства и губернского города Российской империи, наконец, столицы советской ТАССР? Не просто в билингвальности и бикультурности (этим в нашей многонациональной стране может похвастаться не один город). Пресловутая «би-особенность» имеет здесь свою специфику: события 1552 года оказали значительное влияние на казанскую ментальность, законсервировали Казань как зону вечного фронта — место встречи Востока и Запада, территорию, где через скрипучее сопряжение вырабатываются как диалог культур, так и культура диалога.

Статус Казани как структурно-семантического образования в русской цивилизации сопоставим со статусом Москвы и Петербурга; город изначально был объектом интенсивной культурной рефлексии, становился темой выдающихся произведений литературы, живописи, историософских размышлений. Следы казанского текста в русской культуре отчетливы: это обретение чудотворной Казанской иконы Божьей Матери; «изюмные времена» казанского периода жизни Льва Толстого; крылатая строка «Как время катится в Казани золотое» державинской «Арфы»; полевые изыскания истории пугачевского бунта Александра Пушкина; духовное рождение Максима Горького; «прекрасное видение столицы Красной Татарии» Владимира Маяковского; неевклидова геометрия Николая Лобачевского, сделавшая Казань локусом, где «пересекаются параллельные».

Галина Инисовна Зайнуллина родилась в 1956 году в Казани. Окончила Новосибирский государственный педагогический институт. Работала учителем русского языка и литературы в средней общеобразовательной школе, редактором отдела прозы журнала «Идель» ОАО «Татмедиа». Кандидат искусствоведения (РАТИ-ГИТИС), автор диссертации «Элементы соц-арта и пост-соц-арта в татарском драматическом театре на рубеже XX—XXI вв.». Член Союза театральных деятелей РФ. Публиковалась в журналах «Новый мир», «Октябрь», «Дружба народов», «Юность», «Идель». Живет и работает в Казани.

Само название города — «Казань» — существует как элемент общекультурной топики. Оно произошло от татарского «казан», «котел». Согласно одной из легенд, это был казан, без огня закипевший на месте основания города; согласно другой — шестипудовый котел, в качестве символа богатства и изобилия закопанный старухой Туйбикой в облюбованном для поселения месте. Таким образом, топоним «Казань» существует как свернутый в точку имени образ котла, готовый развернуться в идею парадоксально искривленного пространства, в котором существуют особая, не совпадающая с историческим потоком, темпоральность и возможность пересечения несоединимого — Запада и Востока. «Казань — котел.../ В огромной сей посудине / Все варится — и деготь и шербет» [35], — подтверждает поэт.

К тому же историческое ядро Казани как раз имеет вид котловины: в центральной части возвышенности находится длинная и глубокая впадина, вытянутая с юга на север, отделяющая кремлевский бугор от Старого Городища. За пределами ядра ландшафт исторической части имеет другую особенность: гряда казанских холмов изрезана оврагами, ежегодно изменявшими направление от весеннего таяния снегов и дождевых потоков. Потому в Писцовой книге Казани 1556 года некоторые улицы так и именовались: «на горе», «под горой», «за оврагом», «на вымле», «на щели», «над боераком» и т. п. [Худяков 1990: 253–254].

Казалось бы, низкий левый берег Волги не самое выигрышное местоположение для стольного града, тем не менее импритинговое воздействие казанского ландшафта на аборигенов велико. Ведь семиосфера локального текста абсорбирует не только события местной истории и архитектурную среду, но и характерные формы природного ландшафта — любая их частность потенциально может войти в парадигматику текста. Река, холм, овраг, лес — все это не только природные формы. Равным образом они существуют для нас как символические формы культуры, действующие формы нашего воображения и восприятия: любая возвышенность существует для нас в природной данности и одновременно является «осевым», «полярным» символом [Генон 1997: 352], а овраг — «олицетворением враждебной силы» или «обиталищем жизни и смерти» [Суханова].

Не случайно именно в Казани явилась миру неевклидова геометрия Н. Лобачевского, потому что, отмечается в повести «Дорога на Астапово», «Казань — хитрый город. География его непряма, и недаром его прославил знаменитый ректор казанского университета» [Березин 2010: 39]. Сказался «ландшафтный детерменизм», по мнению автора, и в выборе жизненного пути Л. Толстым: «На его пути вырос один из самых странных городов империи — не холодный чертеж Петербурга, не мягкая, как грудь кормилицы, мать городов русских, не баранки-кольца и самоварные храмы Москвы. Именно Казань формировала и формовала Толстого зычными криками Востока» [40]. Что касается студента В. Ульянова, то здешний рельеф настолько задурил ему голову, что его вышибли из университета через три месяца после поступления: «И после этого он нигде уже не учился. Даже он оказался слишком нормальным для этого города. Казань перекрутила его, и он пошел по жизни ушибленными пересекающимися параллельными, исключенными точками. Вынула Казань из Володи пятый постулат <...> и настали потом всем квинта и эссенция и полный перпендикуляр» [40].

2

Так что, как ни крути, а без понятия «школа местного колорита» [Рогонова] каши в «котле» не сварить. Потому определимся в понятиях и под литературой казанского колорита будем понимать художественные произведения, созданные авторами, для которых репрезентация своеобразия Казани играет решающую роль; ее признаки свя-

заны с сознательным обращением к самоценным описаниям природы, быта, обычаев территории, а также к истории края, воспринимаемой в сентиментальном ключе и в виде регионального мифа. Такого рода тексты, как правило, создают те, кто родился в Казани, причем в исторической части города, и с малых лет впитал неповторимый состав ее почвы, воды, воздуха и визуальной среды.

Что интересно, писатели XIX века страдали «ландшафтной глухотой» в отношении Казани. В рассказах Горького и его повести «Мои университеты» описываются пустыри и грязь; внимание сосредотачивается на подвальных пространствах: кабаках, ночлежках, пекарнях. Это объясняется тем, что с 1880-х годов в восприятии и репрезентации Казани стали проявляться черты обобщенного провинциального города, сложившегося в многочисленных версиях критического реализма. Его характеризуют «засасывающая вязкость жизни», чувство обреченности, которое пронизывает существование людей, господство рутинного над творческим [Абашеев]. Таким образом, в произведениях Горького Казань предстает лишь как один из вариантов города N, выстроенного по умозрительному шаблону.

Казанская специфика в полной мере сдетонировала в литературе лишь к концу XX века. Иначе, нежели у Горького, выглядит район улиц Ульяновых — Волкова — Калинина (Первая, Вторая и Третья Гора) в прозе Санкт-петербургского писателя Валерия Попова. Первые шесть лет жизни он провел на улице Айвазовского, в прошлом Поперечно-Горской, — пересекающей все три Горы. Складки и впадины, изрезавшие плато «трехгорья», сделали здешнее пространство многомерным, вмещающим много значимых исторических событий и славных имен: В. Хлебникова, А. Пушкина, М. Горького, Е. Пугачева. В романе «Горящий рукав» В. Попов пишет: «Но сразу же, как кот, я научился находить теплые местечки, где почему-то хорошо. Еще Казань с ее таинственными оврагами, где жили татары в низких хижинах, намагнитила меня» [Попов 2006: 34].

В неоконченном автобиографическом романе «Ленд-лизовские. Lend-leasing» В. Аксенов ностальгирует по лесопарку «с оврагами, тайнами и авантюрами», который находился рядом с ЦПКИО им. Горького: «Весной, в половодье, на дне оврагов разыгрывались сцены по мотивам джек-лондоновского романа „Мятеж на Эльсиноре“. Плавали на плотках из оторванных в Подлужной калитках. Летом там происходили битвы между мушкетерами короля и гвардейцами кардинала на шпагах, но с участием только что построенных катапульта» [Аксенов 2010: 11].

3

Значительно обогатить парадигмальный словарь казанского текста, конечно же, способен тот писатель, что прожил в Казани большую часть своей жизни.

Таков Айдар Сахибзадинов. В его рассказах и повестях произошло двоение Казани, попытка начать город в новом месте: антихолм, антитеза Кремлевскому холму, выскочил Аметьевской горой. Первоначально здесь располагалась деревня Аметьево. Татарин по фамилии Ахмет (Амет) стал жить на Аметьевской горе. С течением времени это место стало заселяться мусульманами, от чего и произошло название Амет-тавы — Аметьево [Бикбулатов 2004].

После завоевания Казани Грозным сюда пришли русские. Поселок расширился, и дома начали строить под горой, там, где топь, болото. Русские в старину такие места называли «калуга». Постепенно название этих мест перешло на гору, которая стала называться Калугиной. Как всякая казанская возвышенность, она была испещрена сетью оврагов. В 1960-е, годы строительного бума, город обошел новостройками Калу-

гину гору. Поэтому поселок Калуга, имеющий «физиономию обычного захоlustья», оказался деревней в центре города.

Так в прозе Сахибзадинова на противостояние Кремлевского и Калугина холмов наложился универсальный характер противопоставленности города деревне и широкий спектр связанных с этой базовой оппозицией характерологических черт города: механистичность жизненного уклада, искажение нравственных основ существования, лихорадочный темп жизни, одиночество в многолюдии и т. п. [Абашеев]. В поселке, на макушке города — благодать слободского уклада, а ниже, «в мире инопланетян, — низкой холод и смог с припадочным светом реклам».

Калугина гора высится над старым городом, «как спина кита», а Сахибзадинов на своей «макушке» чувствует себя жрецом и делает Калугу центром мироздания. «Да, именно здесь была ось земли: здесь, за кустом смородины, вставало вселенское солнце и садилось именно здесь, за твоей яблоней» [Сахибзадинов 2006: 104]. Находясь в своей усадьбе, писатель испытывает чувство полноты бытия: «Ты блаженствовал, как римский император, что ушел от бранных государственных дел в деревню выращивать капусту, — и представлял, как в тогах, словно банщики в простынях, плачут за калиткой и зовут тебя к трону сенаторы...» [104]. В рассказе «Вот милый с горочки спустился» Калуга в лице повествователя бросает вызов самому семиотически напряженному участку казанского пространства — Кремлевскому холму: «...низкая крыша твоей избы, если смерить по-плотнички пальцем, на два ногтя выше церкви Богоявления и по третий ярус башни Сююмбике. Ты горд этим. И, проходя мимо чужого сарая, непременно врежешь по дощатой стене пяткой, чтобы там, внутри, громынула висячая ванна...» [101].

События казанской старины Сахибзадинов предсказуемо выводит на калуженскую орбиту. В посещении Пушкиным Казани акцентирует отъезд поэта из города утром 8 сентября 1833 года: «Сам выезд Пушкина из Казани пролег в верховьях Калуги, у истоков оврагов близ Арского поля, через деревню Аметьево. Историческая пыль аметьевской дороги... Той осенью она была грязью. Поскрипывая, местили ее колеса пушкинской брички. Где-то здесь вольнолюбивый бард обронил надушенную записку от местной поэтессы Фукс, зная, что в эти края никогда не вернется...» [36].

Размышляя в рассказах над влиянием ландшафта на калужан, писатель выделяет их отличительную черту — в разговоре многие из них глядят поверх головы собеседника. Это «надовражный» или «верхотурный» синдром: «Эдаким взглядом обладает тот хозяин, у кого подворье выходит задами в овраг. И, прохаживаясь в своих владениях, хозяин этот всегда поглядывает выше изгороди, в заовражье. Такая у него потребность. Как у моряка — взгляд за борт, в море. Забьет мужик гвоздь — и глянет, прищемит палец — и глянет. На верхушки берез, на облачко. И отсюда в разговоре он как будто невнимателен, смотрит выше, и порой кажется, что на голове у тебя что-то лежит или даже сидит» [34]. В одиночестве же взгляд калужанина задумчив и долог: «Долог, как синяя даль над оврагами, над станционной рощицей. Эта визуальная перспектива после городской суеты, выхлопов, давки для него — как отдушина. И он наслаждается жизнью — шурит глаза...» [34].

Детерминированность персонажей прозы Сахибзадинова особенностями рельефа местности отмечала и критик М. Аввакумова; по ее словам, нешуточные страсти в произведениях писателя бушуют, «как на какой-либо фантастической планете, в казанских оврагах и заовражьях» [Аввакумова 2001].

Как видим, в прозе Сахибзадинова единицы «казанского словаря»: «Кремлевский холм» — «Калуга», «статусная возвышенность» — «маргинальная низина» (исторически в верхней части города селилось дворянство, в нижней — рабочий люд) — сущест-

вуют не изолированно друг от друга, а взаимодействуют, образуя антиномичные и синонимичные пары, подвижные комбинации, своего рода квазиповествования.

В рассказе «Неевклидова геометрия памяти» [2009: 68–74] им актуализирована одна из самых частотных единиц «казанского словаря» — «неевклидова геометрия». В нем Сахибзадинов для осмысления закономерностей человеческой судьбы привлекает постулаты теории Лобачевского. Рассказ можно сравнить с множеством линейных историй, конгруэнтных, незамкнутых, «вогнутых в сторону параллельности пучка». Вообще, композиция произведений, написанных в последние годы, все реже моделирует протяженность событий во времени и пространстве; с целью концентрационного выражения человеческих судеб прозаик, ведомый изощренной писательской памятью, использует прием рядоположенности разных временных пластов.

4

В пешей доступности (в направлении центра) от писательской Атлантиды Сахибзадинова расположен «дикий остров» другого замечательного писателя — Аделя Хаирова. Речь о Суконной слободе. В начале XIX века в символическом поле Казани она становится синонимом дна жизни и соперничает в репрезентации города с антонимичной ей — на противоположном берегу озера Кабан — благопристойной Старо-Татарской слободой. Именно трущобы Суконки научили стойкости, жесткости и великодушию великого певца Федора Шаляпина, чему свидетельством его признание после скандала в Парижской опере: «Плакали, обнимались, наконец пошли все вместе ужинать и предали сей печальный инцидент забвению, как это всегда бывает в Суконной слободе. Суконку мы всюду возим с собой!» [Хаиров 2007: 61].

С этим когда-то неблагополучным районом Казани связаны детские годы Хаирова, а воспоминания о них вложены в уста Крадуба — нарратора повести «Суконкин сын»: «Суконка вся как-то сползла с горы, — улицы здесь так и назывались — 1-я гора, 2-я, 3-я. Но моя улица под самой горой именовалась — Тихомирнова. Когда местная шпана затевала драку, то обычно говорили: „Тихо-мирно разберемся!“» [49].

В царские времена тут стоял Горлов кабак, прозванный так оттого, что «народ здесь любил драть горло разными похабными песнями»: «Именно сюда заживал Пушкин с гусиным пером за ухом и походной чернильницей-непроливашкой, чтоб записать рассказы старожил о Пугачеве...» [49]. Легендарного кабака будущий писатель, разумеется, не застал, зато приохотил своего alter ego к прогулкам около кинотеатра «Победа», построенного на его месте с псевдоисторическими портиками и гипсовой лирой на крыше.

Но более всего мальчика манил к себе Шамовский овраг: «На его склонах американские клены разрослись так, что образовывали, как в тропиках, одну сплошную разветвленную крону, не хватало только диких обезьян. Зато крыс здесь обитали целые полчища. Летом 1970 года воры загрызли местного вора Лябика, который выиграл в карты бешеные деньги и посреди ночи решил срезать путь по дну оврага...» [49]. Другой легендарный вор, по кличке Эфиоп, любил там читать книжки, сидя на удобной, как кресло-колесо, кленовой ветви; если книжка была интересная, не спускался до самого заката, если скучная — делал самолетики из страниц и перед запуском подпалывал зажигалкой.

Надо сказать, воровская элита «дикого острова» времен социализма в чем-то облагородила криминальные нравы прежних насельников — рабочих Суконной мануфактуры, основанной в 1714 году. По утрам воры употребляли исключительно боржом, а когда солнце переваливало за полдень, на столе под сенью старого клена появлялись «темно-зеленые кегли дешевого яблочного вина». Языки у мужчин развязывались,

и можно было услышать много интересного: «Емелька-то прятался после того, как сделал ноги из казанского острога, во-она в той яме на первой горе, куда Васька на прошлой неделе ..бнулся, когда мы его за бутылкой посылали». — «Да не Васька, а Мансурыч!» — «Мансурыч тоже успел... А когда через годик Пугачев пришел Казань брать, то полез он во-она оттуда... Вишь? Вон, тропка по дну оврага бежит, там где еще раньше армянское кладбище было...» — «Да не армянское, а немецкое!» — «А хотя бы и еврейское» [49].

Спустя десятилетия Хаиров стал свидетелем конца Суконной слободы. С горечью повествует он, как пригнали технику, развели большие костры: «Бревна, как косточки, жалобно трещали, легко рассыпаясь, сверху летели песок и стекла. Крепкие молодые с оскалом работяги штурмом брали дом за домом, с недовольством обходя лишь маленький краснокирпичный домик, некогда светящийся аквариумами, с умоляющей надписью „Здесь еще живут!“» [61].

Тем не менее, несмотря на реновацию в связи с празднованием 1000-летия Казани, Суконка на заветной карте города по-прежнему существует, правда, радикально преобразованной: по улице Тихомирнова протянута автомобильная трасса, вдоль нее стоят элитные высотки; от уничтожения спасен единственный деревянный дом — архиепископа Иоасафа Удалова: разобран по бревнам и перенесен; над зданием бывшего кинотеатра «Победа», ныне тюза имени Кариева, по-прежнему плывет среди облаков гипсовая лира; рядом воздвигнут помпезный Театр кукол «Экият», похожий на торт. Шамовский овраг наполовину засыпан, по нему пущена двухполосная автомобильная дорога. Склоны облагорожены дерном и декоративным кустарником, горят фонари. На их гривке стало заметнее здание Шамовской больницы из красного кирпича — дар городу в 1913 году купца 1-й гильдии Якова Шамова. Ныне она продана малазийской компании «Aliran Adaman» и превращается в пятизвездочный «Kazan Palace».

Деисторизация казанского пространства — свершившийся факт, и для прозаика Хаирова это несомненное зло: «Казань старательно замазывает свое природное своеобразие, свою изюминку, как родинку на лице, толстым слоем пудры» [64]. Даже облака теперь проплывают над ней, как ему видится, надменно — не касаясь города, «отторгнутого Востоком». Поэтому темой его следующих произведений — поэм в прозе «Завязь» и «Казань—Курочки» — становится энтропийная убыль архитектурного наследия на примере двух старинных особняков — дворянского и купеческого.

Но есть и иное отношение к обновлению городской среды. Уроженец Ташкента писатель Евгений Абдуллаев считает: «Музеефикация истории города, его архитектуры разжижает кровь, мешает снять в музейном предбаннике войлочные тапочки и насладиться плодами внеисторического времени <...> лучшая литература возникает на руинах» [Зайнуллина 2007: 44].

5

В пользу последнего мнения говорит творчество представителя молодой плеяды прозаиков Казани — Дениса Осокина. Он родился в поселке Брикетном, «вдавленном в болота», школьные годы провел в безликом спальном районе Квартала, построенном на месте осушенных камышовых зарослей и озер. Именно созерцание красот правобережья Казанки сделало из Осокина рефлектирующего наблюдателя, который чувствует символику казанского пространства как в границах исторического ядра, так и далеко за его пределами.

В тексте «Город К. Почтамтская улица. Кислицыну Валентину» писатель отчетливо ощущает контраст Университетского и Кремлевского холмов, его чреватость нарративным напряжением: комплекс зданий Казанского университета как символ Разума

и Прогресса соперничает здесь с кремлевской доминантой, падающей башней Сююмбике и минаретами мечети Кул-Шариф. Контрастное соположение двух архитектурных ансамблей на прямой улице Кремлевской (в прошлом Воскресенская, Ленина, для автора — окказионально Почтамтская) является фразой казанского текста.

Писатель прочитывает ее как «мистический гребень города»: «В этом месте на Почтамтской улице из города К. выходит живой нерв и привязывается к хребту существования. Очевидно, такое место имеется в каждом городе — и его стоит искать. В этом месте возможно очень многое. Если уничтожить всю Казань, но оставить маленький квадрат этого места — то город не уйдет из небесных каталогов» [Осокин 2007: 16–17].

Таким образом, писатель осмысляет Кремлевскую не как градостроительное воплощение истории и предназначения Казани быть перекрестком цивилизаций Запада и Востока. Доминантой ее он делает «нерв» Главпочтамта, расположенный посередине, то есть радикально деидеологизирует оппозицию, по сути снимает, а горизонталь «Запад — Восток» заменяет на вертикаль «проявленное — потустороннее».

Основное внимание в этом тексте Осокин уделяет районам, которые до него не поэтизировались. В его Заветной карте упоминаются Зилантов холм — второй нерв Казани; улица Гагарина — площадка для гадания о любви; другая улица Гагарина в селе Борисоглебское на Сухой реке — резерв первой, для самых заветных вопросов, связанных со здоровьем и смертью; Птичий рынок на улице Белинского в Соцгороде, чей директор — воскресенье, «которое многие потеряли еще в детстве». В Парке Урицкого (он же Парк моторостроителей), согласно Осокину, следует прогуливаться по трубе, идущей от ТЭЦ, как по высокой набережной, — здесь можно услышать море. В поисках самого веселого казанского дома лучше отправиться на Лынокомбинат: в нем полно чердачников, застенников, подлестничных — это множество мертвых, сохранивших веселость, а комендант там — детский писатель 1920-х годов Абдулла Алиш. Необходимо соблюдать осторожность на улице Сакко и Ванцетти, бывшей Поперечно-Мокрой: она самая печальная в городе, а ее дом № 3 — «общезитие городских фигур, разочарованных и неистребимо скорбных».

Наиболее духоподъемными писатель считает северные городские окраины — «труднопроходимый лабиринт городских тайн». Отправиться туда на трамвае № 10 от Каравая до Жилплощадки все равно что нестись кромкой Ледовитого океана: «Эти края — альтернативный центр города, неизвестный северный эквивалент всем известной старой Казани. Пространство, прошиваемое десяткой, — несжатое поле художественных открытий» [17–23].

6

Как видим, историческая жизнь места (локуса) сопровождается «непрерывным процессом символизации», результаты которой закрепляются в топонимике, фольклоре, исторических повествованиях, наконец, в художественной литературе [Абашеев]. Таким образом формируется локальный текст культуры — вместилище эмблем и символов, — который с точки зрения семиотики можно рассматривать как особый вид текста, определяющий наше видение места, отношение к нему; в нем многое — от легенд о возникновении Казани до инсталляций современных художников. Много, но не все. Локальный текст отнюдь не всеобъемлющий тезаурус местной культуры.

Тайна семиозиса велика есть. Например, в процессе внутреннего расщепления теории Лобачевского — на собственно научную суть и ее означающую поверхность — граница между территориями геометрии и семиотики прошла по поверхности неевклидовой геометрии, укоренившись в общественном сознании фразой о пересекающихся параллельных. Хотя Лобачевский при исключении пятого постулата Евклида основывался

на иной аксиоме: «На плоскости через точку вне данной прямой проходит более одной прямой, не пересекающей данную» [Лаптев 1976: 77]. Математик доказывал, что «параллельные прямые в направлении параллельности неограниченно сближаются <...> В направлении противоположном это расстояние неограниченно возрастает» [80]. (Напомним, ученый разработал свою воображаемую геометрию в пространстве с постоянной отрицательной кривизной, что отсылает нас к образу котла и топониму «Казань».)

Тем не менее фраза о пересекающихся параллельных в качестве означающего начала свое собственное движение в культурном поле. В казанской поэзии она используется как метафора личности Казани, непредсказуемых свойств его пространства: «Город студентов, / Знающих, / Что параллельные — сходятся» [Беляев 2009]. Похоже, как всякое коллективное бессознательное, казанское сродни условной домохозяйке в требовании удобоваримой упрощенности и структурирует значащие элементы по своей синтагматической логике.

Потому закономерен вопрос: что из художественных открытий Сахибзадинова, Хаирова и Осокина приживется в стабильной сетке семантических констант, станет доминирующими категориями описания Казани и начнет программировать этот процесс в качестве матрицы новых репрезентаций?

7

Интересно проверить программирующую мощь казанского текста на примере литературного творчества Рената Беккина, коренного ленинградца, для которого Казань никогда не была духовной Меккой и столицей всех татар. В возрасте 30 лет, уже будучи известным востоковедом, доктором экономических наук, он в 2010 году приехал в Казанский федеральный университет для организации первой в новейшей истории России кафедры исламоведения в светском вузе. «Все вокруг казалось мне необычным, — говорит Беккин о своих первых впечатлениях от столицы Татарстана, — это другой мир. Раньше, кроме как в Москве и Петербурге, я подолгу нигде не жил».

К тому времени Беккин уже являлся главным редактором литературно-философского журнала «Четки», организатором премии «Исламский прорыв» и написал детективный роман «Ислам от монаха Багиры», где в популярной форме изложил некоторые положения ислама и мусульманского права, ставя во главу угла просветительскую задачу. Ну а общей целью всех этих начинаний было заявить о таком течении в российской словесности, как мусульманская художественная литература.

В статье «„Исламский прорыв“: мусульманская литература в поисках идеологии» Р. Беккин отнес к таковой те произведения, где за тематическую основу берутся злободневные для ислама и мусульман проблемы. В манифесте оговаривалось: «Мусульманская литература — в полном смысле качественные поэмы, стихи, романы, повести, рассказы и др., а не однобокие нравоучительные притчи с идеальным положительным героем и “смазанными” отрицательными персонажами...»

Неудивительно, что идеолог нового течения поначалу не воспринимал Казань как культурно-природное пространство с особой био- и семиосферой: ему были не важны отношения природы и культуры — их оппозиция или же, напротив, гармоничное сочетание. Герои повести «Аскар и его брат» [Беккин 2013] существуют в стерильной, лишенной метеосообностей и казанских символических реалий среде. Причиной тому, скорее всего, неосознанное желание автора скомпановать с Казанью экзистенциологему «обретение мусульманской веры», ведь в повести рассказывает историю о том, как два брата Аскар и Данис пришли к исламу — каждый своим путем: первый традиционным, а второй радикальным, что привело к трагическому исходу обоих.

Однако символические ресурсы Казани не могли не включиться в процесс самоидентификации Рената Беккина как диаспорного татарина. Поэтому осознанное отношение к месту, где под его руководством происходило становление российского исламоведения, стало актуальной задачей писателя, и эта актуальность не исчезла даже после 2015 года, когда казанский период его жизни закончился.

Так что же из «некоего синтетического сверхтекста», по Топорову, спровоцировало трансляцию региональных клише в казанском цикле прозы ленинградца? В первую очередь свернутый в точку имени образ котла. Чему подтверждением название его детской повести — «Приключения мальчика Степки в городе Котлове». О каком Котлове речь, становится понятно с первых страниц по доминанте казанского силуэта — башне из темно-красного кирпича, похожей «на перевернутый кверху ногами вафельный рожок от мороженого» [Беккин 2018: 117].

Овладевает Беккиным и идея мистического парадоксального пространства, в котором существует особая, не совпадающая с историческим потоком темпоральность. В полной мере она развернулась в краеведческом фэнтези «В поисках Баумана». Здесь расследуется таинственное исчезновение 2,4-метрового памятника большевику, в честь которого названа главная пешеходная улица Казани; в конце 1930-х годов он был установлен на Кооперативной площади (сейчас Тукая), но простоял в центре недолго. Из-за активного транспортного движения его вместе со сквером в 1937 году перенесли на Арское Поле, к старому зданию ветинститута. Там бетонный памятник находился до 1998 года, пока не подвергся нападению незадачливых охотников за цветметом, которые снесли скульптуру голову.

По информации некоего Блонда, который выдает себя за потомка незаконнорожденного сына Баумана, акт вандализма могли совершить местные ваххабиты: «Они же считают, что изображения людей — мерзопакостное дело, грех» [Беккин 2013а: 121]. Выплескиваясь за рамки жанрового определения «казанская быль», Беккин доводит мистификацию до предела: якобы революционер перед смертью прошептал что-то типа «Ля ляхи илля ляя» — то есть принял ислам. Более того, оставил после себя тайную книгу, в которой рассматривал социалистическую революцию как промежуточный этап на пути к революции исламской.

Гротескностью фантастического допущения автор дает понять, что мотивирован вовсе не делом исламского призыва в литературу, главное для него в этой «быличке» — передать ощущение миражной природы Казани. Квинтэссенцией ее является улица Петербургская, которая вопреки законам логики является продолжением Баумана, — подарок Санкт-Петербурга к 1000-летию Казани. Она вызывает отторжение нарратора: «Бог весть из чего слепленные здания-уроды», «шутовские мостики», «ротонда — глупейшая пародия на Казанский собор, как если бы тот вдруг провалился по самый купол под землю вместе с колоннами и Кутузовым и Барклаем-де-Толли в придачу». Воспоминания об усадебно-особняковом прошлом улицы, носившей до 2004 года название Свердлова, для рассказчика реальнее шутовских декораций: «Пушки, которые никогда не стреляли даже по воробьям, и якоря, которые никогда не знали вкуса ледяной морской воды. Назвать все это уголком Петербурга в Казани может только тот, кто совсем не любит ни Казани, ни Петербурга...»

Так же реально по сей день неизменное присутствие на площади Тукая бетонного Баумана со знаменем наперевес. В финале рассказа деятель РСДРП из тайного становится явным на погибель искателю разгадки его тайны. Художественная правда в жуткой развязке есть, потому что исчезнувший Бауман «выстрелил» на площади в 1985 году другим «каменным гостем» — величественным изваянием революционера Мулланура Вахитова (в народе «Нео» из-за развевающегося длиннополого плаща).

Тут самое время уточнить, что казанский текст существует в двух, причем лишь частично совпадающих вариантах, — русском и татарском, которые входят в метатексты русской и тюркской культур. Соответственно, и сама Казань до 1917 года имела две выраженные части городской застройки: русскую — аристократическую и купеческую — в верхней части Казани и татарскую — в Закабанье, за протокой Булак, — где с XVI века жили лояльные иноверцы. Здесь сформировался уникальный ансамбль татарской архитектуры, ныне стараниями реставраторов превратившийся в историко-культурный заповедник «Старо-Татарская слобода».

В свете этого понятно, почему Беккин при построении хронотопа не ищет вдохновения в высокой горной части Казани — там семиотическое пространство православно-мифа (пусть без сакрализации ландшафта в словосочетании «казанское семихолмие», аналогичного римскому, константинопольскому и московскому). Налицо писательская интенция подвергнуть инверсии устойчивую антонимичную пару казанского словаря, сделав низину статусной, а возвышенность маргинальной.

Сам Беккин поселился в 2010 году в Приволжском районе. Героев своих повестей и рассказов тоже прописал в низовой Казани и разыграл там значимые события их жизни. Так, рассказчик «В поисках Баумана» квартирует около завода «Нэфис Косметикс», производящего бытовую химию, на правом берегу озера Нижний Кабан. Зуфар абый — чудаковатый преподаватель арабо-мусульманской философии (и герой одноименной повести) — живет в типовой девятиэтажке на улице Эсперанто. Судьбоносная встреча автора с очаровательной африканкой Хавой в повести «Хава-ля» случается в Старо-Татарской слободе на улице «с мягким названием Сафьян» [Беккин 2014: 6]. Наконец, сквозной персонаж «Казанских историй» Женя в рассказе «Слабый иман» получает представление о должном сватовстве из книги, приобретенной им в мусульманской книжной лавке на улице Парижской Коммуны; в «Укусе джинна», понукаемый необъяснимой агрессией бродячей собаки, он в течение дня вынужденно читает Коран в окрестностях Ботанической.

На «Казанских историях» следует остановиться особо как на самом удачном, на наш взгляд, цикле рассказов Беккина. Он хорошо проработал в цикле этих рассказов одну из составляющих казанского текста, образующегося в условиях двуязычия, а именно эндемики — «слова, характерные для данной местности, отдельного этноса <...> не имеющие широкого хождения» [Шафаринская 2010: 140]. Для казанской русской речи характерно обильное употребление тюркизмов, татарских словечек, — посему их наличие в литературе казанского колорита не может маркироваться как ориентальный экзотизм. Беккин понимает это ограничение и поэтому именно в использовании эндемической лексики проявляет уверенную мастеровитость.

Вот, к примеру, Асия («Аскар и его брат») в волнении перескакивает с русского на мишарский татарский в разговоре с мужем Мансуром: «Конечно, неплохо, с девками блян гулял, развлечения анда направо-налево, а монда в хорошую семью попал... Освоился. Ряхат» [Беккин 2013: 11]. А вот Женя из «Казанских историй» обсуждает с женой Нурисей возможность появления в доме второй жены: «Жаным, тут... нейсе... дело такое... одна девушка предложила мне... как бы... жениться на ней. Ради Аллаха». — «Что-о-о?!» — «Но она собирается принять ислам и ...» — «Что-о-о?!» — «Ислам». — «Пусть принимает!» — «Но она хочет сделать это после того, как выйдет замуж». — «Бетеч! Почему же не до?» — «Говорит, у нее иман слабый». — «Что у нее слабое? Дай мне ее номер. Будут тут всякие сучкалар тебе лапшу на уши вешать. Я ей растолкую все на счет имана» [Беккин 2016: 140].

Текст «Казанских историй» снабжен ссылками и примечаниями к татарским эндемикам, где автор с удовольствием дает пояснения к каждому из них, в частности, выражению «подлинная усал» в отношении Жениной супруги: «Усал — прилагательное,

не имеющее точного перевода на русский язык, но одинаково хорошо понимаемое всеми жителями Казани. Служит для обозначения татарских женщин. Иногда ошибочно переводится как „злой (злая)“. Обладательница определения „усал“ обладает непростым властным характером» [Беккин 2016: 140].

Конечно, у читателей, живущих за пределами Татарстана, неизбежно возникнет вопрос, на который они не найдут ответа в комментариях: почему молодой мужчина с русским именем является истовым мусульманином и имеет жену Нурисю? Но пуститься в «объясняло» по этому поводу: мол, парень из смешанной семьи, тут это обычное дело, — значит губить текст, Беккин, освоившийся в Казани, хочет подать особый русско-татарский человеческий состав этого города как не подлежащую обсуждению данность. Потому мусульманские клише благопожелания и соболезнования: «Аллага шекер», «урыны джанната булсын», «ва алейкум ас-салам», «рамазан мубарак!», «альхамдулиля», — которые он влагает в уста Жени, звучат органично, без назидательного пафоса и ущерба для жизнелюбивой атмосферы историй.

Симптоматично, что в последней своей повести о Казани-Котлове (с которой начался разговор о литературном творчестве Беккина) писатель наконец допускает своего персонажа, маленького героя Степку, в верхнюю часть Казани — на улицу Волкова, Вторую гору.

8

В данной статье мы не ставили задачей выявление всех элементов казанского текста, составивших его словарь (парадигматический уровень). Ограничившись описанием нескольких значимых элементов на примере творчества наиболее значимых местных прозаиков, попытались выявить его программирующий потенциал в художественном освоении Казани Р. Беккиным, порождение новых работающих смыслов. Как видим, казанский текст — живая и действенная инстанция, организующая не только отношения человека и среды его обитания, но и преобразовывающая ментальность, эмоциональную сферу, творческие стратегии. Стоит лишь осознанно отнестись к месту собственной жизни, как непременно возникнет стремление искать «формулы Казани» и размышлять о «казанской идее».

Это плодотворно в нынешней ситуации не только по причине краха символических структур советского геопространства, а уже главным образом из-за изменившегося отношения локального сообщества к месту своей жизни: все чаще молодежь заявляет о своей потребности уехать из родного города и искать лучшей доли за рубежом. Усиление «казанской матрицы» в этой ситуации, ее намагниченность литературными шедеврами может стать одним из факторов сдерживания печальной тенденции.

Литература

1. Абашеев В. В. Символы и мифы Перми. К изучению семиотических аспектов территориальной идентичности // http://prometa.ru/projects/ecognito/1/copy_of_2
2. Аввакумова М. Н. Это страшное слово — любовь // Литературная Россия. — 2001. — № 14.
3. Аксенов В. П. Lend-leasing. Дети ленд-лиза // Октябрь. — 2010. — № 9. — С. 4–102.
4. Беккин Р. И. Аскар и его брат // Нева. — 2013. — № 1. — С. 9–35.
5. Беккин Р. И. В поисках Баумана // Нева. — 2013. — № 8. — С. 113–123.
6. Беккин Р. И. Казанские истории // Нева. — 2016. — № 8. — С. 131–148.

7. Беккин Р. И. Приключения мальчика Степки в городе Котлове // Нева. — 2018. — № 12.
8. Беккин Р. И. Хава-ля: (Путешествие в Сомалиленд): повесть. — М.: МГИМО-Университет, 2014. — 160 с.
9. Беляев Н. Н. Воз воспоминаний стихи разных лет. — Казань: Татарское кн. изд-во, 1991. — 80 с.
10. Беляев Н. Н. Казанская тетрадь // <http://newlit.ru/~belyaev/4032.html#n0>
11. Березин В. С. Дорога в Астапово // Новый мир. — 2010. — № 11. — С. 36–45.
12. Бикбулатов Р. И эрудиты ошибаются // Казанские истории. — 2004. — 28 июня.
13. Генон Р. Символы священной науки. — М.: Беловодье, 1997. — 494 с.
14. Зайнуллина Г. И. Выше лучших помыслов горожан он парит... // Идель. — 2007. — № 4. — С. 37-38.
15. Зайнуллина Г. И. Молодые голоса СНГ // Идель. — 2007. — № 12. — С. 42–46.
16. Лаптев Б. Л. Н. И. Лобачевский и его геометрия: Пособие для учащихся. — М.: Просвещение, 1976. — 112 с.
17. Осокин Д. С. Казань. Город К. Почтамтская улица. Кислицыну Валентину // Идель. — 2007. — № 12. — С.16-23.
18. Попов В. Г. Горящий рукав // Звезда. — 2006. — № 5. — С. 5–57.
19. Рогонова Е. Н. Поэзия дальнего запада второй половины XIX века и проблема регионализма в литературе США. <http://www.dissercat.com/content/poeziya-dalnego-zapada-vtoroi-poloviny-xix-veka-i-problema-regionalizma-v-literature-ssha>
20. Сахибзадинов А. Ф. Октябрьские груши. — Казань: Татарское кн. изд-во, 2006. — 239 с.
21. Сахибзадинов А. Ф. Неевклидова геометрия памяти // Казань. — 2009. — № 2. — С. 68–74.
22. Суханова И. А. Лейтмотив оврага в романе Б. Пастернака «Доктор Живаго» энциклопедия статей // <http://www.majesticarticles.ru/naykaiobrazovanie/obrazovanie/pred/lit/so/31906916.html?page=2>
23. Хаиров А. Р. Суконкин сын // Казанский альманах. — 2007. — № 3 — С. 38–108.
24. Худяков М. Очерки по история казанского ханства. — Казань: Фонд ТЯК, 1990. — 310 с.
25. Шафаринская Э. Ф. Ташкентский текст в русской культуре. — М.: Арт Хаус медиа, 2010. — 304 с.